



ЖАН МАРЕ

ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ

ЖИЗНЬ АРТИСТА

Мемуары великих

Жан Маре

Парижские тайны. Жизнь артиста

«Алисторус»

Маре Ж.

Парижские тайны. Жизнь артиста / Ж. Маре — «Алисторус»,
— (Мемуары великих)

Великий француз Жан Маре (1913–1998) известен у нас прежде всего по фильмам «Фантомас», «Граф Монте-Кристо», «Капитан», «Парижские тайны», «Железная маска», где он воплотил образ идеального мужчины, супермена, покорителя женских сердец. Он снялся и в таких шедеврах мирового кинематографа, как «Орфей», «Двуглавый орел», «Тайна Майерлинга»... А на сцене ему довелось быть Нероном и Цезарем, Сирано де Бержераком и королем Лиром, Эдипом и Рюи Блазом. В памяти миллионов Маре остался не только живым воплощением силы, красоты и благородства, но и великим артистом. Его герои поражали своим неотразимым обаянием, глубиной и искренностью чувств. Мир театра и кино привлекал Жана Маре с детства, но, провалившись на экзаменах в Парижскую консерваторию, он вынужден был довольствоваться скромной ролью помощника фотографа, пока ему не удалось в 1933 году сняться в своем первом фильме. Романтическое дарование молодого красавца заметил знаменитый режиссер Жан Кокто, и вскоре он стал одним из самых известных актеров Франции и обрел всемирную славу. О перипетиях своей судьбы, о том, что ему приходилось обостренно переживать, в подробностях рассказывает Жан Маре в своей книге.

Содержание

1	6
2	10
3	18
4	25
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Жан Маре

Парижские тайны. Жизнь артиста

© Елена Турышева, перевод на русский язык, 2014

©ООО Издательство «Алгоритм», 2014

* * *

Я ложь, которая всегда говорит правду.
Жан Кокто

1

В Монтаржи Жан Кокто писал «Трудных родителей». Однажды к нам зашел Макс Жакоб. Он составил мой гороскоп: «*Вы – Лорензаччо¹, бойтесь совершить убийство*», – написал он; и слова «*бойтесь совершить убийство*» были дважды подчеркнуты синим карандашом.

В то время я думал, что он имел в виду мое амплуа в театре. Позднее я понял его правоту. Я был Лорензаччо, а синий карандаш спас меня от совершения убийства.

Этот поэт открыл мне смысл Лорензаччо в тот момент, когда я лишь недавно стал им. И все же с самого детства я бессознательно стремился к этому. Я следовал по пути, который не был моим. Мной управляла неудержимая сила, которую я считал кокетством. Желая нравиться, я старался скрыть свои недостатки и контролировать реакции. Как мне это удалось? Теперь мне это трудно объяснить. Я так старательно скрыл «чудовище» под множеством достоинств, собранных отовсюду, что оно кажется уснувшим, иногда – умершим. Я могу взглянуть в его глаза – ведь это мои глаза.

Несколько лет назад «Парижское издательство» попросило меня написать воспоминания. Я возразил, что еще слишком молод и к тому же не умею писать. Хотя и вышла моя книга «Мои признания», на четвертой стороне обложки можно было прочитать: «Я помог Жану Маре привести в порядок эти признания, собранные третьим лицом. Моя роль, следовательно, была слишком мала, чтобы я мог поставить свое имя под заглавием рядом с его именем. Но я проникся любовью к Жану Маре и еще больше восхищением: его чистотой, амбициями, желанием делать гораздо больше, чем просто нравиться... Известная газета иронически отозвалась о моей работе. Этим она отвечала на некоторые мои критические замечания, опубликованные в «Комба» и адресованные видному христианскому писателю, возглавляющему эту газету. Не вижу здесь никакой связи. Но поскольку это было сделано, скажите, чье сердце ближе к Богу, этого великого человека или Жана Маре?»

Подписано – Морис Клавель, кого я люблю и кем восхищаюсь.

¹ Герой одноименной пьесы Альфреда де Мюссе. – *Здесь и далее примеч. пер.*



Ложные положения, обман предшествовали моему рождению: Луиза Шнель, моя бабушка, была родом из Эльзаса. У нее было множество братьев и сестер. Из ее сестер я знал только трех – Евгению, Мадлен и Жозефину.

Луиза вышла замуж за Модеста Вассора, уехала в Париж и родила троих детей: Альбера, Мадлен и Мари-Алину.

Модест был игроком. Деньги улетучивались.

Жозефина вышла замуж за Анри Безона. Это был очаровательный человек, работающий, честный, вскоре он стал директором страховой компании «Ля Провиданс», в которой работал. У супругов не было детей. Жозефина и Анри вырастили Мари-Алину, младшую из детей Луизы. Мари-Алина стала называться Генриеттой, и вскоре мадемуазель Вассор превратилась в мадемуазель Безон: ложные положения начались.

Новоявленная Генриетта Безон вышла замуж за Альфреда Вилен-Маре, называвшего себя просто Альфред Маре. Альфред был студентом, будущим ветеринаром. Генриетта воспитывалась в монастыре, она хотела стать монахиней. Анри Безон уговорил ее выйти замуж. Вскоре он умер от диабета. Альфред увез Генриетту в Шербур, где обосновался. Тетя Жозефина переехала к ним. У Генриетты родились трое детей: Анри в 1909 году, Мадлен в 1911-м и я, Жан, 11 декабря 1913 года.

Ложное положение: моя мать отказалась меня видеть. Ее дочь Мадлен умерла за несколько дней до моего появления на свет; она хотела еще девочку. Я обманул ее надежды; я должен был исчезнуть.

Моя бабушка Луиза оставила мужа, чтобы жить вместе со своими сестрой и дочерью.

У меня сохранилось мало воспоминаний о Шербуре. Помню большой, немного грустный дом, стены, оклеенные обоями под сафьян, кузницу... В самом деле к дому примыкали кузница и двор, в котором мы с братом играли. И сейчас еще я ощущаю запах горелой кожи. В моей памяти сохранились лошадка-качалка, детский автомобиль, подарок крестного Эжена (он не был моим настоящим крестным, настоящим был мой брат). Перед домом площадь д'Иветт, казавшаяся мне, ребенку, огромной (нам запрещалось выходить на нее), гора Руль – небольшой серый холм, который в моем воображении был полон тайн. В памяти встают также осколки бутылок на плохоньком пляже, мой бархатный костюмчик темно-синего цвета с отложным воротником и весь сопутствующий церемониал: завивка волос щипцами, обожженные уши, тросточка, которую я ронял через каждые два метра...

А как забыть внушения мамы по дороге в кинематограф, когда мы отправлялись смотреть Пирл Уайт?

Тогда, конечно, и родилась моя мечта стать актером. Я был влюблен в великолепную блондинку Пирл Уайт. Множество моих кукол, носивших имя Пирл Уайт, служили мне партнершами, так же как и оловянные солдатики, для того чтобы разыгрывать эпизоды из «Тайн Нью-Йорка», которые я перекраивал соответственно размерам моей детской.

В Шербуре моя мать слыла «парижанкой». Ее косметика, даже очень легкая, поражала их. Ее платья, пошитые по последней моде, высокие каблуки, духи, даже то, что она заставляла детей принимать ванну, – все удивляло окружающих. Это, конечно, воспоминания не мои, а матери, которыми она делилась с братом и со мной.

С 1914 по 1918 год я переболел всеми болезнями, которые может подхватить ребенок: коклюш, корь, скарлатина, абсцессы в ушах, бронхит и, ко всему прочему, испанка. Этот грипп называли «испанский», чтобы не произносить слово «чума», которое могло всполошить людей. Врачи объявили меня безнадежным, к моим губам подносили зеркальце, чтобы узнать, дышу ли я еще. Мать потребовала, чтобы мне сделали какой-то укол.

– Это его убьет, – ответил врач.

– Раз он все равно должен умереть, я сделаю этот укол сама.

Она потребовала рецепт, врач дал ей его, и мать сделала мне укол.

Она взяла на себя всю ответственность. С 41° температура упала до 36°.

– Я убила его, – сказала мать, обливаясь слезами.

– Вы его спасли, – ответил врач.

Я рассказал этот эпизод, чтобы объяснить характер моей матери. Эта женщина страстно любила своих двоих детей.

Еще она рассказывала о чудовищной поездке из Шербурга в Гавр, которую мы проделали вместе, чтобы посоветоваться со специалистом: я страдал абсцессами в ушах. Шла война, и достать машину было просто невыносимо.

Моя мать была одновременно строгой и справедливой, нежной и суровой, веселой и серьезной, элегантной и красивой, красивее Пирл Уайт. Что касается моего отца, я почти не знал его, поскольку он ушел на войну в 1914 году. Мне было пять лет, когда он вернулся. В день его приезда я, по словам матери, сидел верхом на сенбернаре. «Отец хотел спустить тебя на землю, а ты сказал: “Кто этот здоровый дуралей, который мне мешает?” Он дал тебе пощечину. Тогда я решила уехать с тобой и твоим братом Анри. Моя тетя и твоя бабушка поехали с нами».

В день отъезда мать решила с блеском отпраздновать разрыв. Весь дом был ярко освещен. Ее отъезд превратился для меня в оперную феерию. Феерия продолжалась в вагоне-салоне поезда, увозившего нас в Париж.

Мой мнимый дядя, мой ненастоящий крестный, офицер, прикомандированный к морскому порту в Шербурге, занимался организацией президентских поездок. Благодаря ему мы бесплатно путешествовали в роскоши, которая существует сейчас, кажется, только для президентов Республики. Ехали все вместе: мать, бабушка, двоюродная бабушка, мой брат и я.

Для меня все это закончилось в комнатенке консьержки, мадам Бульмье: консьержка была подругой Берты Колло, а Берта Колло – подругой матери; подругой и ее козлом отпущения. Мама, бабушка и тетя Жозефина остановились в отеле до того времени, пока будет найден дом. Нас с братом поручили подружке Берте, которая, не имея у себя места для двоих, перепоручила меня консьержке. Я подружился с мадам Бульмье, с ее собакой по кличке Мальчик и влюбился в ее дочку Фернанду, которая была на девять лет старше меня. Я решил, что женюсь на ней, и был верен ей до пятнадцати лет. Я забыл о Робере, ее ровеснике; их обручение носило куда более серьезный характер, и это приводило меня в ярость. «Ну и пусть, – успокаивал я себя, – я женюсь на маме».

Мама навещала меня. Эти славные люди принимали ее с такой же теплотой и почтением, с каким крестьяне-роялисты встречали Марию-Антуанетту во время ее бегства в Варенн.

Мое восхищение и любовь к матери росли с каждым днем. Для меня не было ничего прекраснее, чудеснее этого блестящего, надушенного существа. Мать была нежной. Я любил обнимать ее, целовать ее белоснежную шею, аромат которой, смешанный с запахом пудры, потрясал меня. Я любил обнимать подол ее платья, из-под которого выглядывали маленькие ножки в кожаных туфельках под цвет платья.

Когда она уходила, мир рушился. Даже Фернанда не могла заставить меня улыбнуться.

Наконец мать приехала, чтобы забрать меня окончательно. Мысль о том, что я покину Фернанду, мадам Бульмье, Берту, ее сына Робера, вызвала поток слез. Но зато я уезжал с мамой, держа ее под руку, в такси! Мои слезы быстро высохли. Мы поедem на поезде! Вот это жизнь!

2

Мать сняла в Везине ужасный дом из грубого камня. Его башенка приводила меня в восторг. Бассейн в саду, величиной не более трех метров, окруженный декоративными скалами, казался мне огромным, как море. Замок! Мы живем в замке. Моя мать была принцессой. Жизнь постепенно налаживалась. Бабушки разделили между собой обязанности. Никаких слуг. Это было странно для замка Бога. Тетя Жозефина убирала первый этаж, стирала, готовила завтрак, ходила на рынок и присматривала за моим братом Анри, бабушке достались второй и третий этажи, обед, глажка белья, шитье и я.

С пяти до семи часов вечера они играли в жаке². Для меня игра в жаке была сигналом, что уже недолго осталось ждать возвращения матери. Я жил этим ожиданием, продолжая играть, как обычно играют дети. Но с пяти до семи мои игры несколько менялись; сидя под большой скатертью в столовой или зимой на корточках перед камином, я погружался в мир, в который я один мог проникать. Там я встречался с друзьями и врагами, известными только мне. Так я оставался недвижим до того момента, когда, казалось, тело мое стало настолько бесплотным, что, если я попытаюсь зажать запястье между большим и указательным пальцами, они соприкоснутся сквозь тело. Это было мучительное и одновременно блаженное чувство. В то же время я прислушивался к разговору, который велся за игрой. Я угадывал смутное беспокойство по поводу матери, и это беспокойство постепенно овладевало мной. Я не старался от него избавиться, наоборот, я держался до тех пор, пока оно становилось почти нестерпимым. Сидя под столом, я плакал и в то же время наблюдал за собой плачущим. И мои горькие слезы доставляли мне наслаждение.

Появлялась мама. Я слышал: «Как ты поздно! Мы так беспокоились. Зачем ты заставляешь нас так волноваться?» Тогда я появлялся из-под скатерти.

Это была ни с чем не сравнимая радость, праздник. И каждый вечер, когда мать возвращалась, я обнимал ее так, будто она, наподобие Пирл Уайт в «Тайнах Нью-Йорка», прошла через тысячу опасностей, преодолела непреодолимые препятствия, чтобы вернуться к нам.

Всякий раз, возвращаясь с кучей свертков в руках, мать создавала атмосферу Рождества. Иногда нам с братом разрешалось открывать пакеты. Какое великолепие! Десерты и ранние овощи, одежда для нас и двух наших милых старушек. Были еще и другие вещи, которые мать уносила в свою комнату. В ее комнате все было голубым: занавеси, кресла, ковры, покрывало, обои. Обивка на мебели 1900 года, подделка под стиль Людовика XV.

Мама спускалась ужинать. Моя принцесса была похожа на Золушку перед балом: старый пеньюар, дырявый, выцветший, весь в разноцветных заплатках. Ужин, всегда превосходный, состоял из одного блюда и множества десертов.

– Была у Эжена, сказала, что он должен сделать это для детей... (Эжен – мой ненастоящий крестный.)

Эта фраза навсегда врезалась мне в память. Мать рассказывала о событиях дня, вернее, о том, что она могла рассказать.

На почте:

– Мошенница!

– Что вы сказали?

Служащий высовывает голову из окошка и повторяет:

– Мошенница!

Я даю ему пощечину. Дело заканчивается комиссариатом. Эжен все уладил.

Или еще:

² Настольная игра с костями и фишками.

– Я опаздывала на поезд, бегу и налетаю на какого-то типа, который мне кричит: «Грязная шлюха!» Я ему ответила: «Шлюха – может быть, но не грязная».

– Мама, что такое шлюха?

Мама объясняет:

– Это такая птица, очень красивая и элегантная³.

– О? В таком случае ты должна быть довольна!

Огромным счастьем было для меня спать в маминой кровати, как и для всех детей, я думаю. По-моему, ей это тоже нравилось. Но самой большой радостью для меня было получить допуск в ванную утром, перед ее уходом.

Эта ванная комната была единственной в своем роде. Она находилась напротив голубой комнаты, с другой стороны коридора, ведущего к тетиной комнате, над кабинетом, служившим нам иногда для занятий, но больше всего для хранения игрушек. Единственное окно ванной, до которого трудно было добраться из-за тесноты, выходило в сад. Огромный шкаф XIX века занимал очень много места. В его ящиках можно было найти железные и картонные коробки, наполненные вуалетками, лоскутками, кусочками пемзы, заколками для волос, разного рода тесемками всех цветов и размеров, газетами для опробования температуры щипцов разной величины для завивки волос, купальными шапочками, краской для ресниц, пудрой и тысячью других вещей. Кроме того, он был забит разнообразными странными предметами: там находились таз, кувшин к которому был давно разбит, мыльницы всех видов с мылом разного цвета и разных сортов, палочки губной помады, стаканчики для чистки зубов, десятки использованных и новых зубных щеток, щетки для волос и т. д.

Посреди комнаты стоял круглый стол с керосинкой, от которого исходил чарующий запах: там постоянно подогревались чайники с водой, наготове стояли побелевшие от извести кастрюли. На газовой плитке, помещавшейся на деревянной этажерке, нагревались другие щипцы для завивки. Там была еще серая ванна без облицовки, на полу растрескавшийся, дырявый линолеум. На полинявших стенах на бесчисленных кнопках держались веревочки, к которым были прицеплены разномастные полотенца. От всего этого хлама шел странный запах – смесь керосиновой копоти, жженой бумаги и волос, пудры и духов фирмы Герлен. Да, я забыл про флаконы всех фирм и размеров. Еще я забыл упомянуть о больших этажерках, к которым гвоздями были приколочены старые занавески, скрывающие выцветшие купальные халаты.

Сидя под этими занавесками прямо на старом линолеуме, я присутствовал при волшебстве.

Мрачная ванная комната превращалась в лабораторию красоты. Это было моей великой привилегией, наполнявшей меня какой-то странной радостью.

Покончив с косметикой и прической, мать приступала к выбору украшений. Она превращалась в кумира – мне хотелось самому вдеть ей серьги в уши, надеть колье, браслеты, кольца. Иногда мне разрешалось выбрать платье, и я был счастлив и горд, если с моим выбором соглашались. Наконец, наступал черед шляпы, вуалетки, перчаток.

Золушка была готова к балу. Я провожал ее до садовой калитки. Каждый ее уход был для меня потрясением. Она садилась в поезд на станции Пек. Это еще одна маленькая деталь, говорящая о ложности нашего положения, поскольку жили мы тогда в Везине.

Иногда мама брала нас с собой, обычно по четвергам. Для меня все было радостью: поездка на пригородном поезде, вокзал Сен-Лазар, такси и особенно кино!

Больше всего я любил фильмы ужасов и приключенческие; моими любимыми актерами были Пирл Уайт, Дуглас Фэрбенкс, Мэри Пикфорд, Нита Нальди. Но наивысшим счастьем для меня было сидеть рядом с матерью. Я был счастлив, и меня переполняла гордость из-за

³ Игра слов: la grue – 1) журавль; 2) шлюха (*фр.*).

обращенных на нее взглядов – все головы поворачивались в ее сторону, когда она входила, – и ни капельки не ревновал.

Часто мы ходили в гости к моему мнимому крестному в его контору на вокзале Сен-Лазар, где он занимал теперь должность начальника.

Иногда наши посещения не имели никакой определенной цели; чаще они были вынужденными: нас силой приводили в комиссариат, например, когда моя героиня путешествовала без билета или отказывалась предъявить его по той простой причине, что у контролера не было белых перчаток; или еще потому, что мать дала пощечину какому-нибудь бедняге, настолько неудачливому, что ему же приходилось приносить ей свои извинения в присутствии комиссара.

Брат не находил себе места от смущения. А я ликовал. Мне казалось, что все права на стороне мамы; она не была похожа ни на одну другую мать. Почему? Потому, что моя мать была подругой Бога, может быть, его женой, может быть, его матерью... Его матерью... но тогда, может быть, я, ну, конечно же, я был Богом. Иначе почему бы я был я?

Я представлял себе, как захожу в кинотеатр в будний день, но не в четверг; в зале, очевидно, никого нет, потому что меня не ждут; мысленно я даю пощечину кондуктору в автобусе, и на мой взгляд, взгляд ребенка, возмнившего себя Богом, кондуктор неминуемо должен обратиться в пепел.

«Если бы ты был Богом, ты бы знал об этом, – говорил я себе. – А ты захотел устроить себе каникулы, прожив человеческую жизнь, и поставил условие – никто не должен тебе этого говорить. Это игра Бога; я забавляюсь, представляясь ребенком человека. Дата моего возвращения назначена заранее».

Меня приняли учиться экстерном в церковную школу в Везине, а брата – в коллеж Сен-Жермен-ан-Ле. Тетя Жозефина, усердно посещавшая церковь, пустила в ход интриги и добилась, чтобы я стал служкой. Я был там самым младшим, подстриженным под Жанну д'Арк. Эта должность нравилась мне в основном из-за одеяния, но мне казалось странным, что приходится прислуживать священнику, который, не подозревая этого, служил мне же, поскольку я был Богом.

Вскоре я понял, что однажды уже спускался на землю. Не удивительно, что мне захотелось закончить свою первую жизнь драмой. И в этот раз я, как всегда, отдал предпочтение историям с плохим концом и фильмам ужасов.

Мои родные не любили, когда я приводил в дом сверстников. Посещения дяди Эжена (моего ненастоящего крестного) становились все более редкими. Зато время от времени приходил другой человек, ненастоящий дядя по имени Жак де Баланси. Высокий, темноволосый, элегантный, он называл себя двоюродным братом Сен-Гранье. Когда его спрашивали, чем он занимается, он отвечал, как моя мать: «Делами». Был здесь еще один нюанс: во время его посещений я не имел права заходить в голубую комнату.

Приходила также Берта Колло с сыном и Фернандой Бульмье, моей «невестой» из Порт де Лиля. Мы играли в крокет, и в этой игре мать не имела равных. Она надевала не будничную бедную одежду, а очаровательное голубое платье, так называемое домашнее, обшитое по подолу маленькими деревянными шариками, обтянутыми таким же атласом, как и платье.

Она любила устраивать розыгрыши. Чтобы испугать Бертю, она переодевалась грабителем; чтобы поставить ее в затруднительное положение, наряжалась тетей Мадлен, прибывшей из Страсбура. Сама Берта тоже участвовала в этих проделках: она, например, позволяла привязать себя к соломенному матрацу и скатывалась на спине вниз по лестнице, ставшей аттракционной горкой, или давала отвезти себя в связанном виде на тачке до самого вокзала.

В своих проделках мать не знала никакой меры. Чего тут только не было: привидения, дождь в комнате Берты, устроенный с помощью шлангов для полива; покрашенное в желтый цвет белое белье Берты, которое она только что постирала. Бедная Берта дрожала, кричала,

плакала, а мы смеялись, смеялись вовсю! Берта говорила: «Что она еще выкинет? Ноги моей здесь не будет!» Но всякий раз она возвращалась, ждала и надеялась.

Маленькая, тощая, почти уродливая, лицо в морщинах, с добрыми и нежными глазами, она обожала мою мать, которая была полной ее противоположностью. Мать дарила ей платья, шляпы, сумки, пояса, дешевые украшения. По-моему, она любила Берту столь же нежно, но развлекалась ею, как игрушкой. Иногда игры эти были довольно жестокими: однажды мать загримировала ее сына Робера под мертвеца и уложила в кровать Берты, оставив на ночном столике бутылку с надписью «яд».



Жан Маре на руках у матери. Шербург. 1914 г.

Эти примеры оказались для меня пагубными. Я тоже хотел сыграть «свою» шутку. Как-то раз я проник в тетину комнату и отыскал ее драгоценности. Я отправился в беседку и молотком

расколол все камни, весь жемчуг, затем положил расплющенные оправы на прежнее место. Все решили, что я сделал это из мести, и даже через много лет, когда, будучи взрослым, я рассказывал эту историю в присутствии матери, она не хотела верить, что это была только шутка.

Вскоре мы переехали из Везине в Шату. Теперь мы жили под фамилией Морель. На мои вопросы мать отвечала, что нас разыскивает отец и нам необходимо скрываться. Смена фамилии, местожительства – все приводило меня в восторг. Я совсем не сожалел о башенке и бассейне. К тому же меня отдали на полупансион в Сен-Жерменский коллеж, где учился мой брат. Я становился взрослым.

Дом в Шату был менее уродлив, но оригинальностью не отличался. Квадратный, подделка под стиль Людовика XIII, окруженный садом. Внутри были гостиная, столовая, где мы чаще всего находились, кухня, небольшой кабинет. На втором этаже, у входа на лестницу, была комната бабушки; рядом – комната мамы, неизменно голубая. Напротив – ванная, затем комната тети. На третьем этаже – наша с братом комната (теперь мы спали в одной постели). Два чердачных помещения, маленькое и большое. Та же мебель, те же обои, что и в предыдущем доме; те же уходы утром, те же возвращения, сопровождающиеся привычными волнениями.

Кроме нас, появились еще двое – черный кот и немецкая овчарка по кличке Каргэ.

Мать была суровой, но справедливой.

Мы с братом не понимали, кого из нас она любит больше.

Она научила нас побеждать страх. Мы оба, Анри и я, действительно были трусливыми. Я боялся спускаться в погреб. Бывало, я ревел от страха, когда скрипел пол на чердаке над нашей спальней. Прежде чем лечь спать, мы заглядывали под кровать, в шкафы, боясь, что там кто-то прячется.

Мать научила нас быть справедливыми и мужественными: не стонать от раны, сохранять невозмутимость даже при жестоком обращении, например при прикладывании припарок, с помощью которых она боролась с нашими бронхитами. Наконец, не выдавать другого, дать наказать себя по ошибке, не назвав настоящего виновного. Случалось, что я недостойно пользовался этим: когда меня наказывали в коллеже, я утверждал, что это вместо товарища. В эту ложь не всегда верили, но мать делала вид, что верит. Я не часто прибегал к этому средству, только в самых серьезных случаях. Мать учила нас быть солидарными. Если брата лишали десерта, я должен был отдать ему половину своего, и наоборот.

Не знающий страха, подлости, не боящийся боли, я был главарем банды, о котором можно было только мечтать. Я стал им в коллеже. Настоящее «маленькое чудовище» с лицом ангела. Я врал, воровал, воровал все, что попадалось на глаза, и везде. Из карманов, из портфелей, из столов, в раздевалках. Даже из сумок бабушки и тети. Из сумок матери – никогда. Чаще всего украденные вещи были мне не нужны, и я выбрасывал их, чтобы избежать распросов дома.

Однажды, украв коробку с красками, не нужную мне, поскольку я не рисовал, я начал рисовать.

Я организовывал банды и возглавлял их. Я платил своим наемникам лакрицей, леденцами и другими товарами, которые покупал у привратника коллежа. Я тратил на это огромные суммы, которые черпал, в основном, из тетиной сумки, почти всегда висевшей на вешалке при входе в столовую. Проходя мимо, я запускал руку в сумку и брал одну купюру. Я никогда заранее не знал, что вытащу. Это была своего рода лотерея. Увы! Когда там бывало мало денег, тетя замечала пропажу. Опасаясь, что вором может оказаться мой брат, она молчала. Анри был ее любимцем, тогда как я был любимцем бабушки. Тетя просто прятала сумку. Мы всегда находили ее. Я говорю «мы», потому что узнал, что Анри действовал так же. Не зная, куда еще ее спрятать, тетя положила ее в кухонную плиту. Она забыла о ней и сожгла сумку вместе с деньгами.

Тетя была «богатой» родственницей, бабушка – бедной. Будучи рантье, тетя работала по дому, как служанка.

Мать приносила деньги, которые получала от своих «дел». Судя по нашей одежде, игрушкам, платьям, мехам, драгоценностям моей матери, мы, казалось, жили в достатке. И в то же время не было никаких слуг, никаких гостей, приходили только старые друзья, о которых я уже говорил.

Учился я плохо. Меня забрали из коллежа Сен-Жермен и поместили в лицей «Кондорсе»⁴. Каждый день я ездил на поезде в Париж. Здесь я встретил свою третью любовь. Я забыл рассказать о второй. Первой была Фернанда, второй – дочь сторожа газового завода, расположенного неподалеку от нашего дома в Везине. Она была на два года старше меня и звалась Кармен.

Третью мою любовь, из поезда, тоже звали Кармен. Мне было двенадцать лет, ей – пятнадцать. Я был робким влюбленным – осмеливался только прижиматься к ней, когда в вагоне было полно народу, сопровождать ее или писать записки, которые я засовывал ей в сумку. Однажды к нам домой пришли полицейские. Кармен арестовали на бульваре Клиши. Они разыскивали ее сутенера, нашли письмо с моим адресом. Они пришли меня арестовать. Меня показали. Наверное, они до сих пор смеются!

В «Кондорсе» я вел себя не лучше, чем в Сен-Жермене. У меня возникла гениальная идея завести два дневника: один с настоящими оценками, то есть с очень плохими, который я подписывал вместо родителей, другой – с оценками от 18 до 20, в котором я расписывался вместо преподавателей и который показывал матери.

Все шло прекрасно до того дня, когда меня отчислили за плохую учебу. Возмущенная мать решила устроить скандал.

Поскольку я не мог больше поступить ни в один лицей, раз меня выгнали из «Кондорсе», мой ненастоящий дядя Жак де Баланси достал справку, по которой он значился моим наставником, и где утверждалось, что я никогда вообще не посещал школу!

Так я был определен на полный пансион в Жансон де Сайи в качестве наказания. На самом деле это было для меня наградой, ведь эта справка льстила моему самолюбию.

Единственное, что меня огорчало, это возможность видеть мать только по четвергам и воскресеньям. Мне исполнилось тринадцать лет. Поскольку я очень отстал, меня определили в шестой класс, где различные предметы вели разные учителя. В первый день я представился им под разными фамилиями. Разумеется, это очень скоро обнаружилось. Меня наказали, но я стал героем среди товарищей, потакавших лентяю и бузотеру. Среда Жансона, где учились дети богачей, была хорошей почвой для развития у меня патологического вранья и привычки обманывать.

Брат Анри остался в коллеже Сен-Жермен. Проверить мою ложь было невозможно. Для всех я был сыном очень богатых родителей, родственников Кассаньяков, то есть потомственных аристократов. У нас четыре замка, десять автомобилей, множество слуг. Однажды мать, забиравшая меня по четвергам, позвонила директору лицея, сообщив, что не может приехать за мной. Ее такси попало в аварию. Директор сказал мне об этом при всем классе: он произнес слово «автомобиль». Это разом подтверждало все мои истории, мои «испано», «делажи», «делаэ» и «вуазены»⁵.

Я несколько не волновался за мать. Мать Господа – неуязвима.

Я сочинил также, что она актриса. Меня спрашивали:

– Где она играет?

Я отвечал:

⁴ Бывший монастырь, с 1804 г. один из известнейших парижских лицеев.

⁵ Названия марок автомобилей и самолета.

– В «Комеди Франсез».

Я не знал ни одного актера этого театра и был уверен, что мои товарищи знали не больше моего.

Преподаватели и классные наставники очень любили меня и лишь того и желали, чтобы сделать своим любимцем. Но, став «любимчиком», я потерял бы уважение товарищей. Поэтому я бузил, как бешеный, чтобы отбить у преподавателей всякую симпатию к себе.

Однажды я доверился преподавателю французского языка, расспрашивавшему меня с приветливостью, которую я принял за дружбу. Я признался ему, что хочу стать киноактером. На следующий день при всем классе он обратился ко мне:

– Месье Маре, пока вы еще не стали звездой...

Я встал и молча вышел. В течение года я ни разу не присутствовал на его уроках.

Время, отведенное на уроки французского языка, я проводил, играя в прятки с главным наставником. Я придумал игру. Она заключалась в том, чтобы учитель удалил меня и моих товарищей из класса и мы все вместе убежали от главного наставника, в обязанности которого входило следить, чтобы ученики не болтались по коридорам. Выгнанные из класса должны были находиться в дежурном помещении или множество раз переписывать заданные строчки, как в дни, когда их оставляли после уроков. Мы кричали классному наставнику «Эй, ты!», затем все разбежались по лестницам, дортуарам или туалетным комнатам, где курили сигареты. Я боялся только быть оставленным после уроков по четвергам и воскресеньям, так как в этом случае не смог бы видеться с матерью.

В один из четвергов вместо мамы за мной пришел мой ненастоящий дядя.

– Твоя мать в отъезде, она не хочет, чтобы ты лишился похода в кино, поэтому я ее заменяю, – сказал он.

Кино! Я любил кино, но только чтобы при этом рядом сидела мама и я держал ее руку в темноте зала.

– Она мне не говорила об этой поездке.

– Твоя мать еще вчера ничего не знала, она недолго будет в отъезде.

– А где она?

– В Босолей, на юге Франции.

Мне было тяжело. Я старался не показать Жаку своего огорчения. Она меня не предупредила. Впервые она не сдержала слова. Мать обожала нас с братом. Что заставило ее уехать? Я не знал ни одного родственника, кроме наших милых старушек.

– Она уехала по делам... Ну конечно же, по делам.

– Но чем же мама занимается? Она никогда не говорила мне об этом.

– Делами. Она посредница по продаже мехов.

Жак повел меня в кино, потом покормил и проводил обратно в Жансон.

Он был великолепен, нежнее, чем мог бы быть отец. В лицее ни единой весточки от матери. В субботу вечером за мной пришла тетя Жозефина. (Несколько дней спустя мне пришлось сказать, что это моя гувернантка, поскольку, на мой взгляд, милая старушка выглядела недостаточно представительной.) Я вел себя почти примерно, чтобы не попасть в карцер на случай приезда матери. Но дома не было даже письма!

Мне разрешили написать ей, тетя взялась сама отнести письмо на почту.

Воскресенье потеряло всякий смысл. Я был одинок, растерян. В Жансон я вернулся с тяжелым сердцем. Поведение мое было безупречным, так как я боялся, что меня накажут в четверг или в воскресенье, когда вернется мама.

Но в следующее воскресенье за мной опять пришел Жак.

– От мамы что-нибудь есть?

– Да, она чувствует себя хорошо, несмотря на небольшое повреждение руки, на которую наложили гипс. Она не может писать.

Обхватив руками мою голову, он нежно меня поцеловал. Я был благодарен ему за доброту и сочувствовал его горю, поскольку он также был лишен возможности видеть мать. После кино он повел меня перекусить в гостиницу «Терминюс» у вокзала Сен-Лазар, где была его штаб-квартира. Несколько его друзей играли в карты. Он представил меня: «Сын Маризы». Еще одно новое имя матери, которого я не знал!

Меня шумно приветствовали. Говорили, что я красив, «хорошенький, как девочка», как сказал Жак. На меня, желавшего прослыть в Жансоне мужественным, это замечание произвело странное впечатление. Я простил Жаку это, потому что все эти люди говорили о моей матери с восхищением и находили, что я на нее похож.

Жак проводил меня обратно в Жансон, нагруженного разнообразными подарками: сладостями, цветными карандашами, авторучкой, пистолетом с пистонами, не считая карманных денег, которые давали мне возможность состязаться в щедрости с моими товарищами. Теперь я черпал средства из тетиной сумки только раз в неделю.

В тот вечер я не нашел фотографий матери и поднял скандал. Один из товарищей, протягивая их мне, сказал:

– Это твоя мать? Я думал, что это фотографии актрисы.

– Она актриса и моя мать.

Я рассердился на этого мальчика за то, что он нашел мою мать похожей на актрису! Я заснул, как всегда, с фотографиями матери под подушкой. Я плакал. Я частенько плакал, думая о ней.

В следующий четверг меня снова забрал Жак. Фильм с Пирл Уайт уже не шел. Он повел меня в кинотеатр на площади Мадлен смотреть «Бен-Гура». Я открыл для себя Рамона Новарро, которого с тех пор не переставал любить так сильно, что питал неприязнь к Чарльзу Хьюстону, сыгравшему эту роль тридцать лет спустя. Во время демонстрации фильма Жак часто посматривал на меня. Он говорил, что читает на моем лице все перипетии фильма.

Это был первый увиденный мною звуковой фильм. Я был потрясен. Жак сказал, что скоро все фильмы будут «говорящими». Я пришел в отчаяние и молил Бога, чтобы этого не произошло. Я хотел быть актером немого кино. И все, чему нас учили в лицее, кроме физкультуры и декламации, казалось мне ненужным для профессии актера.

Затем, как обычно, мы отправились в отель «Терминюс». Но прежде чем сесть за стол, Жаку нужно было взять какие-то бумаги, которые он оставил у себя в номере. Я пошел с ним. В номере он поцеловал меня в лоб и усадил на кровать. Он не стал ничего искать в комнате и стоял спокойный, молчаливый, без тени смущения, слегка улыбаясь. Усадив меня, он не выпускал моей руки. Я смотрел на него в недоумении, в моих глазах застыл немой вопрос. Он поцеловал меня в волосы. Я решил, что ему нужно сказать мне что-то важное. Речь могла идти только о матери. Он все еще стоял, прижавшись лицом к моим волосам, и держал мою руку в своей. Это было бесконечно, невыносимо. Он осторожно согнул свою руку, и мои пальцы коснулись его. Его рука продолжала направлять мою, заставляя ласкать его. Теперь он смотрел на меня и, видел в моих глазах отсутствие всякого страха. Я был только удивлен и заинтересован. На несколько мгновений он выпустил мою руку, затем снова взял ее. Ему уже почти не нужно было направлять ее, как вдруг она стала мокрой.

Он, как обычно, поцеловал меня в щеку, дружески похлопал по плечу, вышел в ванную и вернулся с полотенцем, чтобы вытереть мою руку, которую я все еще держал вытянутой, со смущенным видом. Он снова поцеловал меня.

– Ты ведь ничего не скажешь маме или кому-нибудь другому?

Я не ответил.

Вернувшись в Жансон в тот вечер, я не поцеловал фотографию матери. И не плакал, спрятавшись под одеяло.

3

Наконец, в субботу в приемной меня встретила мама, чтобы забрать домой. Она была прекраснее и элегантнее, чем всегда. На ее запястье не было следов перелома, оно было тонкое, благородное, как и ее руки. И множество пакетов. Дома – подарки для нас с братом.

На следующий день она играла с нами в жандармов и воров, в прятки, в крокет. Она была молода, прекрасна, беззаботна, словно ребенок. Она снова наряжалась: накладной нос, пенсне, вуалетки, старые платья тети Жозефины. Все смеялись, и она была счастлива!

Тяжело было возвращаться в лицей, хотя у меня там были хорошие товарищи. Лучшие из них – Мальрэ и Гюйо, отец последнего выпускал карамели «Гюйо». Он дарил нам их целыми коробками. У меня был сюрприз для моих товарищей: настоящий револьвер, который я стащил у брата. Неизвестно почему его называли «велосипедным пистолетом». Я же предпочитал называть его «револьвер». Это оружие было совершенно безобидным, поскольку внутри не было пуль. Но, когда мы говорили «настоящий револьвер», это нас опьяняло. Пистолеты с пистонами, производившие гораздо больший эффект в играх, казались нам смехотворными. Гюйо предложил мне в обмен на револьвер пятьдесят коробок карамели и что-то еще. В конце концов я согласился. Мы договорились, что я отдам ему револьвер, когда он сможет отдать мне конфеты.

В следующий понедельник все ребята из нашего дортуара отправились в душ. Мне нравилась атмосфера душевой: пар, очень своеобразный запах, тусклый зал, где каждый звук разносился гулко, как в пещере. Я всегда старался задержаться здесь подольше и одевался последним. Товарищи уже ушли, и я торопился, чтобы догнать их, когда один из классных наставников остановил меня:

– У тебя шнурок развязался.

Я наспех завязал шнурок и собирался уходить. Воспитатель чем-то напоминал Жака. Он легонько взял меня за ухо и сказал, улыбаясь: «Пойдем». Он держал меня за ухо осторожно, но крепко, так что любая попытка вырваться была напрасной. Он подвел меня к кабине душа и отдернул занавеску. Там стоял второй наставник, совершенно голый. Рассеянный свет не мог скрыть его неказистой внешности. Первый посмотрел на меня и рассмеялся. Второй был счастлив, видя мое удивление, которое он принял за восхищение. Я стал пунцовым...



В школьные годы

Тот, что держал меня за ухо, взял с меня слово молчать и отпустил.

Я никому не рассказал о случившемся. Однако «маленькое чудовище» воспользовалось этим. Когда они дежурили, я свободно входил, выходил, курил, разговаривал, не получая ни одного замечания.

Однажды воспитатель отозвал меня в сторону:

– Маре, один из ваших товарищей вас выдал. Он сказал, что у вас есть настоящий револьвер. Боюсь, что он сказал об этом главному воспитателю. Если это так, дайте лучше мне ваше оружие, я верну его вам в субботу, когда вы пойдете домой.

Я решил, что это какой-то шантаж, и все отрицал. Потом рассказал об этом Гюйо.

– Обмен не состоится, – сказал я ему.

– Обмен все равно состоится, – ответил он. – Дай мне револьвер. Если тебя обыщут, ничего не найдут. А карамели я принесу в понедельник.

Я отдал ему револьвер.

Когда меня вызвали к главному воспитателю, я взял у товарища пистолет с пистонами.

– Маре, у вас есть настоящий револьвер?

– У меня есть только пистолет с пистонами. Я внушил остальным, что это настоящий.

– Дайте его мне.

Я отдал ему пистолет.

– Благодарю, возвращайтесь в класс. Но, если вы мне солгали, я буду вынужден выгнать вас из лица.

Немного позже меня вновь вызвали к главному воспитателю.

– Маре, вы мне солгали. Я показал вашему товарищу пистолет, который вы мне дали. Он утверждает, что это не тот. Вы играли во дворе не с игрушечным пистолетом, а с настоящим револьвером. Я требую, чтобы вы мне его отдали.

– У меня никогда не было настоящего револьвера.

Мне казалось, что я участвую в одном из тех фильмов, которые смотрел по четвергам. Я был Аль Капоне и вступил в поединок с полицией. Мне вдруг показалось, что на главном воспитателе парик и красная одежда. Я смотрел ему прямо в глаза.

– Маре, я допросил вашего лучшего друга Марле. Он мне все рассказал.

– Марле ничего не мог вам рассказать. У меня никогда не было револьвера.

– Ладно, можете идти.

Главный воспитатель вызвал Марле.

– Маре мне все рассказал. Дайте мне этот револьвер.

Марле поверил ему.

– Он не у меня, – сказал он, – а у Гюйо.

Из Жансона меня не выгнали – это был лицей, который дорожил своей репутацией. Но предупредили:

– Если вы не уйдете, мы будем вынуждены...

Я пробыл там еще несколько дней, пока дирекция лицея не потребовала от моих родственников, чтобы меня забрали.

В последние дни моего пребывания в лицее все было перевернуто вверх дном из-за отлета Нёнжесера и Коли⁶ в Америку. Мы только тем и занимались, что передавали друг другу вырезки из газет, рассказывающие об этих героях. В ночь полета никто из наставников не мог загнать нас в дортуары. Классные воспитатели сами были возбуждены, они понимали и прощали наше поведение. Каждый из нас представлял себя Нёнжесером или Коли. На следующий день весь лицей отказывался верить в гибель столь исключительных личностей. Среди лицейстов царил всеобщее уныние. Мой отъезд прошел незамеченным. Меня снова поместили на полупансион в Сен-Жермен.

Я продолжал свои подвиги. Я даже перенес в этот лицей свою игру в прятки с главным воспитателем, но сохранял при этом необъяснимое чувство справедливости. Я разговаривал, кричал, чтобы меня выгнали из класса, пока однажды преподаватель английского языка не выгнал меня по ошибке. Я не сделал ничего предосудительного. Я отказался выйти. Этот преподаватель, кажется, в прошлом был боксером, в чем мне пришлось убедиться. Он поднял меня над полом, продержал так несколько секунд, затем поставил и толкнул к двери. Я стяхнул

⁶ Французские пилоты, пытавшиеся совершить беспосадочный перелет Париж – Нью-Йорк на самолете «Белая птица» и погибшие 8 мая 1927 г. над Атлантикой.

пыль с тех мест моего костюма, которых он коснулся. Бедняге кровь ударила в голову. Ударом кулака он свалил меня на пол. У меня пошла носом кровь. Я поднялся, подошел к нему и зло процедил: «Вы не имели права, вы будете уволены».

Вернувшись домой, я никому ничего не сказал. Я боялся материнского гнева.

Мать била нас редко. Но делала она это ручкой от метелки из перьев, твердой и гибкой, во всяком случае, это было болезненно. С тех пор как брат надел пять пар штанов одни на другие, чтобы обезопасить себя, она лупила нас по голому телу.

Я больше не считал себя Богом. Я был отвратителен, особенно вне дома. Ленивый, тщеславный, высокомерный, раздражительный, амбициозный, вор до такой степени, что дирекция лицея вынуждена была заменить простые замки английскими, жестокий с бедными преподавателями и жалкими воспитателями, которые не заслуживали такого отношения. Например, я разбежался и на бегу подставлял себе подножку. Я летел под ноги воспитателю, тот падал на землю, поднимался весь в пыли, иногда в разорванной одежде, и он же спрашивал, не ушибся ли я, думая, что я упал случайно. Он удивлялся, видя, что мои товарищи смеются, и бранил их. Его звали Будуль. Он был славный человек.

В другой раз, когда мы поднимались по лестнице строем, исключительно для того, чтобы вызвать суматоху, смех и смутить преподавателя, я упал навзничь, притворившись, будто мне дурно. Это был мой первый трюк. Во мне рождался комедиант. Мне казалось, что мои товарищи восхищаются мною. Так ли это было? Не думаю. И все же на переменах школьный двор разделялся на два лагеря, которые сражались за право иметь меня своим главарем. В лагере победителей оказался студент из Афганистана по имени Абол, он был старше нас. Его отец был министром, а он учился во Франции. Этот молодой человек добивался моей дружбы. По понедельникам он привозил мне подарки из Парижа, где у него была комната. Однажды он пригласил меня к себе. Здесь, в Париже, он вел себя совсем не так, как в коллеже. Он был нежным и ласковым, таким ласковым, что я сбежал. Однако на следующий день я, как обычно, принял его дружески. Его дружба мне льстила – я любил нравиться. Недостаток это или достоинство – желание нравиться? Это признание может вызвать у кого-то неодобрение, но оно сделано искренне и справедливости ради. В юности я придавал большое значение справедливости только по отношению к себе. Справедливость по отношению к другим занимала меня гораздо меньше. Оглядываясь назад, я понимаю, что сам был воплощением несправедливости. Каждый день рождаются калеки, больные, существа неразумные и бездарные. Другие – совершенно здоровые, красивые, одаренные. Скоро мы будем попрекать злого за то, что он злой, преступника – его преступлением. Может ли горбун распрямиться? Злой человек также не может стать добрым, разве только если обладает даром судить о себе и исправиться. Но эта сила дана ему еще до рождения, он не может приобрести ее, если у него нет этого дара.

Обедая однажды с профессором хирургии, я осмелился сказать ему (мы говорили об одном происшествии), что для меня не существует преступников – есть только больные. Он согласился со мной. И объяснил, что, воздействуя на определенные точки мозга, можно изменить характер человека.

Ребенок, которым я был, хотел нравиться. Чтобы нравиться, он играл храбреца, скрывая страх. Он презирал трусливых товарищей и стремился сам избавиться от этого недостатка. Я начал с того, что стал спускаться в погреб нашего дома, который наводил на меня ужас. Ночью я забирался на неосвещенный чердак, прыгал с десятиметровой высоты в бассейн Пека, взбирался на крыши, стены, где без посторонних глаз заставлял себя двигаться, удерживая равновесие. Это одновременно помогло мне избавиться от головокружения.

Но больше всего я боялся выглядеть смешным. Один товарищ рассказал мне, что у него три машины и десять слуг. В нем я узнал себя. Он пускал пыль в глаза точно так же, как и я. Я нашел, что он смешон. Значит, и я был таким. С этого дня я решил говорить правду. Но

начал я со «лжи наоборот». Свою буржуазную семью со скромными средствами я представил как бедную. Мне было больно, однако я испытывал определенное наслаждение.

С этого момента я стал бороться со всем, что было уродливым во мне. Не из соображений морали, а из кокетства, чтобы нравиться. Точно так же, как женщины используют косметику. Я думаю, что многие люди сделали бы невозможное, чтобы казаться красивее внешне, и что каждый может стать лучше нравственно.

Это было нелегко: «чудовище» сопротивлялось, брыкалось, проявляло себя. Кроме того, я терял свой ореол бузотера и грубияна. Меня провоцировали.

У меня был товарищ по имени Жермен, очень приятный и милый мальчик, незаметный и добрый, я ощущал его положительное влияние. Мы стали неразлучными. Сплетники поговаривали, что наша дружба особого свойства. «Чудовище» возвращалось и карало.

В другой раз я проучил одного парня, который заявил, что моя мать воровка. Пришлось применить силу, чтобы разнять нас. Тогда у меня возникло желание убить. Может быть, он хотел сказать, что я вор. Возможно, он начал эту фразу, чтобы закончить другой. Но не успел.

Впрочем, я больше не воровал. Я невольно излечился следующим образом. Мне захотелось иметь замшевую куртку. Однажды, когда я был в Париже, в четверг, я зашел в универмаг и стащил ее. Мне было страшно, до боли в животе.

Теперь мне стало понятным выражение представителей преступного мира: «Живот подвело от страха». Кроме того, я не мог выходить из дома в этой куртке, опасаясь расспросов родственников. Понадобилась хитрость индейцев сиу, чтобы носить ее. Я подарил куртку кому-то и больше не воровал.

Труднее было справиться с ленью. Но, несмотря ни на что, я сделал некоторые успехи: почувствовал вкус к учебе. Я начал интересоваться другими предметами, помимо декламации и физкультуры (по этим двум дисциплинам я всегда держал первенство). По декламации – из-за того, что появилось звуковое кино, по физкультуре – потому что у меня была хорошая мускулатура и потому что это было необходимо для моего ореола бузотера.

Дома мама не заметила перемены во мне, поскольку с ней «чудовище» становилось ангелом. К тому же ни тетя Жозефина, ни бабушка не рассказывали ей о кражах. Мой брат по-прежнему без стеснения черпал средства из черной, теперь уже залатанной, сумки.

Мама, как и раньше, возила нас каждый четверг в Париж. Мы делали покупки, примерки, затем шли в кино. Она никогда не брала билетов. Она показывала визитную карточку моего ненастоящего крестного, где сама написала: «Будьте добры предоставить места моей жене и детям... – и подписалась. – Эжен Удай».

Однажды в четверг, на третьей неделе поста, мама посадила нас, наряженных в маски, шляпы и перчатки, в такси. «Улица Одриетт», – сказала она шоферу. Она собиралась купить конфетти оптом, так как считала, что для нас было мало тех маленьких пакетиков, что продавались в магазинах. «Остановитесь здесь, – сказала мать на углу улицы Одриетт, – и подождите меня». Она оставила нас в такси. Подбежал полицейский.

– Проезжайте, – сказал он шоферу, – здесь стоять не разрешается.

– Вы останетесь здесь, – властно заявила мать шоферу, – плачу я, а не полиция. – И она ушла.

– О! – воскликнул сержант. – Ну и тупица! – И остался дожидаться возвращения матери, несомненно, для того, чтобы потребовать у неё документы.

Она вернулась, и, прежде чем полицейский успел открыть рот, я сообщил:

– Мама, он назвал тебя тупицей.

– Что?!

– Он назвал тебя тупицей.

Она дала ему пощечину.

В конце концов мы оказались в полицейском участке. Мать очень спокойна, а полицейский выкрикивает объяснения. Комиссар спрашивает у матери документы, и она протягивает ему визитную карточку моего ненастоящего крестного:

– Вот визитная карточка моего мужа.

Комиссар:

– Он должен был радоваться, что его ударила такая прелестная дама. Хотите, я вынесу ему выговор?

Мать великодушно:

– Нет, пусть он просто извинится.

Какой прекрасный день для «маленького чудовища»! Я разбрасывал конфетти в полном восторге. Мать тоже разбрасывала конфетти, она смеялась и играла с нами, будто ей было столько же лет, сколько и нам.

Как-то в четверг мы собирались в Париж. Мать была в ванной. Вдруг – звонок в садовую калитку. Суматоха. Тетя Жозефина мечется в полной растерянности. Мать, бабушка и тетя шушукаются. Нас удаляют. Тетя Жозефина возвращается к калитке, беседует с пришедшими, но не выпускает их. Они ждут на улице. Тетя возвращается, разговаривает с мамой, роется в ящиках шкафа, затем поднимается на чердак и возвращается оттуда, нагруженная всяким старьем: платьями, шляпами и ботинками. Тем временем мать надевает карнавальный нос, гримуруется, как для театрального спектакля: рисует морщины на лице, покрыв его слоем серой пудры, смывает краску с глаз, наклеивает густые черные брови, натягивает парик тети Жозефины, который мы называем «превращение». Затем надевает простые черные чулки, старые туфли без каблуков, поношенное платье почти до пола, такое же старое пальто, вышедшую из моды вуалетку, берет хозяйственную сумку и собирается уходить. Увидев мать в таком наряде, я задыхаюсь от восторга:

– Берта приехала? Скажи, мама, Берта приехала?

– Да, я иду за ней на вокзал, представлюсь тетей Мадлен, – отвечает она со смехом.

– Вот будет весело. Ты потрясающе выглядишь, ты могла бы быть актрисой.

– Да, когда-то я хотела быть актрисой. Не выдавайте меня, будьте серьезными.

Мама ушла. Она была похожа на одну из наших родственниц или на какую-то странную прислугу или гувернантку у юре. Она спокойно прошла мимо мужчин, ожидавших около дома.

Мужчины долго ждали под дверью. Время от времени тетя выходила поговорить с ними. В конце концов, на исходе дня, онапустила их. Они зашли в дом, осмотрели его, потом ушли. В тот вечер мама не вернулась домой и Берта не пришла. Некоторое время мама отсутствовала.

Мой брат, ему исполнилось восемнадцать лет, ухаживал за девушкой из Везине, Симоной, к которой он меня иногда водил. У родителей Симоны был прекрасный дом, или он казался прекрасным моему восхищенному взору подростка. Мы играли у них, вместе ужинали. У Симоны было много братьев и сестер. Со мной она была очень приветлива. Это не нравилось Анри. По возвращении домой он задал мне взбучку и сказал, чтобы ноги моей больше не было в доме его подруги.

Но он мог не волноваться: я был влюблен в сестру одного из моих товарищей по Сен-Жермену по фамилии Папийон. Его отец был по происхождению француз, мать англичанка, а сестра, Одетта, была просто прелесть. Они, как и я, жили в Шату, но в более шикарном доме. Одно было плохо – родные не разрешали мне приглашать их к себе.

Очень быстро я научил друзей своим играм, то есть разыгрыванию сцен из виденных мною фильмов. Мы репетировали любовные сцены. Замечательно было держать в объятиях девушку, а не мальчиков из коллежа. Поскольку мне не разрешалось ее целовать, возлюбленного играл ее брат. Я мог изображать только обманутого мужа. От ярости или от любви я горько

плакал. Я имел глупость рассказать в коллеже о своих любовных историях: Кармен, Симона, Одетта. Увы! Это дошло до Папийона, мы поссорились, и я лишился права видеться с Одеттой.

Я снова встретился с Кармен, моей подружкой с газового завода. Она выросла и стала очень красивой. Мне не нравился запах их комнаты: полукухни-полустоловой, где она меня принимала. Это была смесь жира и простокваши. Я повел ее в ближайший лес. Неожиданно она спросила, любил ли я уже кого-нибудь.

– Да, – ответил я, думая о другой Кармен и особенно об Одетте.

– Ты занимался любовью?

– Нет, – ответил я смущенно.

– А я – да, с рабочим завода. Ему двадцать лет, он красив и хорошо сложен. – И она в мельчайших подробностях рассказала мне об этом подвиге, расписав достоинства своего партнера. Кармен было шестнадцать лет, мне четырнадцать, и я боялся, что окажусь не таким «мускулистым», как двадцатилетний рабочий.

– Я научу тебя, – сказала она.

Я не стал брать уроки у Кармен. Я сбежал, сославшись на позднее время.

Больше я никогда ее не видел.

4

В один из вечеров мама повела меня в театр. Я уже не помню ни названия пьесы, ни фамилий главных исполнителей. Кажется, одну из «звезд» звали Лулу Эгобюрю. А может быть, так назывался спектакль: «Лулу и Гобюрю».



Париж. 1920-е годы

На сцене всего одна пара. Персонажей звали Розали и Шабишу. Может быть, эта оперетка называлась «Розали»? Я был очарован спектаклем и особенно Розали. Когда мы вышли из театра, я крепко прижимал к себе маму, целовал ее и, как в пьесе, шептал ей:

– Ты любишь меня, моя Розали?

Чтобы поддержать игру, мама отвечала:

– Я люблю тебя, мой Шабишу.

С тех пор я не называл маму иначе, как Розали. Это имя она носила до конца жизни. Часто я напевал, подражая арии из оперетты:

Розали! Она ушла
Ее увидишь – верни ко мне...

– Ты фальшивишь! – кричала мама.

Пристыженный, я замолчал. Сама мама пела верно. Она также была прекрасной актрисой. Часто она пела дома. В маленькой гостиной в стиле Наполеона III, где мебель, черного цвета с инкрустацией из перламутра (я считал, да и сейчас считаю ее ужасной), представляла собой подделку под буль эпохи Людовика XIV, все было подобрано по цвету: занавеси, кресла, ковры, книжный шкаф того же стиля, запертый на ключ, чтобы мы с братом не прикасались к книгам с хорошими переплетами. А меня так привлекали тома Вальтера Скотта! В отместку я забирался на чердак, где стояли ящики с книгами, и читал все, что попадалось под

руку. Однажды я наткнулся на странное название: «*Прелести за поясом*». Автором книги был, кажется, Судье де Моран. Позже я встретил этого врача, специализировавшегося в иглотерапии. Он лечил Жана Кокто, и Жан Кокто рассказал мне о его книге. Лучше бы мои родственники позволили мне портить переплеты Вальтера Скотта. В этой книге говорилось о половом воспитании маленьких китайцев, которых готовили для утех изощренных взрослых. Конечно, я не рассказал о своей находке, тем более что мне не разрешали рыться на чердаке. Здесь я находил, как находят на всех чердаках мира, разнообразные предметы для своих игр: старые занавеси, ковры, лампы. Завладев всеми этими сокровищами, я украшал свою комнату. Я поочередно становился обойщиком, декоратором, столяром, портным. Одним из моих любимых занятий было создавать наряды.

Не найдя меня во дворе, тетя поднималась в мою комнату и заставляла меня среди моих находок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.